



И. А. БУНИН

Волошин

Максимилиан Волошин был одним из наиболее видных поэтов пред-революционных и революционных лет России и сочетал в своих стихах многие весьма типичные черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, символизм, их увлечение европейской поэзией конца прошлого и начала нынешнего века, их политическую «смену вех» (в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную пору); был у него и другой грех: слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции.

После его смерти появилось немало статей о нем, но сказали они, в общем, мало нового, мало дали живых черт его писательского и человеческого облика, некоторые же просто ограничились хвалами ему да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо всех, которые в стихах и прозе касались русской революции: возвели и его в пророки, в провидцы «грядущего русского катаклизма», хотя для многих из таких пророков достаточно было в этом случае только некоторого знания начальных учебников русской истории. Наиболее интересные замечания о нем я прочел в статье А. Н. Бенуа, в «Последних новостях»¹:

«Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я “не совсем верил” ему, когда по выступлениям красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли... Но влекло его к этим восхождениям совершенно естественно, и именно слова его влекли... Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе... Близорукий взор, прикрытый пенсне, странно нарушал все его “зевсоподобие”, сообщая ему что-то растерянное и беспомощное... что-то необычайно милое, подкупающее... Он с удивительной простотой душевной не то “медузировал”, не то забавлял кремлевских проконсулов, когда возымел наивную дерзость свои самые страшные стихи, полные обличений и трагических lamentаций, читать перед лицом советских идеологов и вершителей. И сошло это, вероятно, только потому, что и там его не пожелали принять всерьез...»

Я лично знал Волошина со времен довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе, зимой и весной девятнадцатого года, не близко.

Помню его первые стихи, — судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьется внешне и внутренне.

<...>

Помню еще встречу с его матерью, — это было у одного писателя, я сидел за чаем как раз рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лет пятидесяти, с седыми стриженными волосами, в русской рубаше, в бархатных шароварах и сапожках с лакированными голенищами, и я чуть не спросил именно у Волошина, кто эта смехотворная личность? Помню всякие слухи о том, что он, съезжаясь за границей с своей невестой, назначает ей первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора; что, живя у себя в Крыму, он ходит в одной «тунике», проще говоря, в одной длинной рубаше без рукавов, что очень, конечно, смешно при его толстой фигуре и коротких волосатых ногах...

<...>

Потом было слышно, что он участвует в построении где-то в Швейцарии какого-то антропософского храма...

Зимой девятнадцатого года он приехал в Одессу из Крыма, по приглашению своих друзей Цетлиных², у которых и остановился. По приезде тотчас же проявил свою обычную деятельность, — выступал с чтением своих стихов в Литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где почти все проживавшие тогда в Одессе столичные писатели читали за некоторую плату свои произведения среди пивших и евших в зале перед ними «недорезанных буржуев»... Читал он тут много новых стихов о всяких страшных делах и людях как древней России, так и современной, большевицкой. Я даже дивился на него — так далеко шагнул он вперед и в писании стихов, и в чтении их, так силен и ловок стал и в том и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованием; какое, что называется, «великолепное», самоупоенное и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение! — и, как всегда, все спрашивал себя: на кого же в конце концов похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле все как-то поднято, надуту, концы густых волос, разделенных на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно... Кряжистый мужик русских крепостных времен? Приап? Кашалот? — Потом мы встретились на вечере у Цетлиных, и опять это был «милейший и добрейший Максимилиан Александрович». Присмотревшись к нему, увидал, что наружность его с годами уже

несколько огрубела, отяжелела, но движения по-прежнему легки, живы; когда перебегает через комнату, то перебегает каким-то быстрым и мелким аллюром, говорит с величайшей охотой и много, весь так и сияет общительностью, благорасположением ко всему и ко всем, удовольствием от всех и от всего — не только от того, что окружает его в этой светлой, теплой и людной столовой, но даже как бы ото всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в темной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одет при этом очень бедно — так уже истерта его коричневая бархатная блуза, так блестят черные штаны и разбиты башмаки... Нужду он терпел в ту пору очень большую.

Дальше беру (в сжатом виде) кое-что из моих тогдашних заметок³:

— Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остается в Одессе, в их квартире. Очень возбужден, как-то особенно бодр, легок. Вечером встретил его на улице: «Чтобы не быть выгнанным, устраиваю в квартире Цетлиных общежитие поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынию!»

— Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлен, весел. «Бог с ней, с политикой, давайте читать друг другу стихи!» Читает, между прочим, свои «Портреты». В портрете Савинкова отличная черта — сравнение его профиля с профилем лося.

Как всегда, говорит без умолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, которого переводит.

Он антропософ, уверяет, будто «люди суть ангелы десятого круга», которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел...

— Спасаем от реквизиции особняк нашего друга, тот, в котором живем, — Одесса уже занята большевиками. Волошин принимает в этом самое горячее участие. Выдумал, что у нас будет «Художественная неореалистическая школа». Бегаёт за разрешением на открытие этой школы, в пять минут написал для нее замысловатую вывеску. Сыплет сентенциями: «В архитектуре признаю только готику и греческий стиль. Только в них нет ничего, что украшает».

— Одесские художники, тоже всячески стараясь спастись, организуются в профессиональный союз вместе с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорят с восторгом: «Надо возвратиться к средневековым цехам!»

— Заседание (в Художественном кружке) журналистов, писателей, поэтов и поэтесс, тоже «по организации профессионального союза».

Очень людно, много публики и всяких пишущих, «старых» и молодых. Волошин бегаёт, сияет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой, — её шнур прицеплен к крючку накидки, — быстро и грациозно, мелкими шажками выходит на эстраду: «Товарищи!» Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: «Долой! К черту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть за Советскую власть!» Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава «в знак протеста» покидает зал. Волошин бежит за ними — «они нас не понимают, надо объясниться!».

— Часовая стрелка переведена на два часа двадцать пять минут вперед, после девяти запрещено показываться на улице. Волошин иногда у нас ночует. У нас есть некоторый запас сала и спирта, он ест жадно и с наслаждением и все говорит, говорит и все на самые высокие и трагические темы. Между прочим, из его речей о масонах ясно, что он масон, — да и как бы он мог при его любопытстве и прочих свойствах характера упустить случай попасть в такое общество?

— Большевики приглашают одесских художников принять участие в украшении города к первому мая. Некоторые с радостью хватаются за это приглашение: от жизни, видите ли, уклоняться нельзя, кроме того, «в жизни самое главное — искусство и оно вне политики». Волошин тоже загорается рвением украшать город, фантазирует, как надо это сделать: хорошо, например, натянуть над улицами и по фасадам домов полотнища, расписанные ромбами, конусами, пирамидами, цитатами из разных поэтов... Я напоминаю ему, что в этом самом городе, который он собирается украшать, уже нет ни воды, ни хлеба, идут непрерывные облавы, обыски, аресты, расстрелы, по ночам — непроглядная тьма, разбой, ужас... Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине *сокрыт страждущий Серафим*, что есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы приять распятие, горение, из коего возникают какие-то прокаленные и просветленные лики...

— Я его не раз предупреждал: не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были еще вчера. Болтает в ответ то же, что и художники: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник». — «В украшении чего? Собственной виселицы?» — Все-таки побежал. А на другой день в «Известиях»: «К нам лезет Волошин, всякая сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Волошин хочет писать письмо в редакцию, полное благородного негодования...

— Письмо, конечно, не напечатали. Я и это ему предсказывал. Не хотел и слушать: «Не могут не напечатать, обещали, я был уже в редакции!»

Но напечатали только одно: «Волошин устранен из первомайской художественной комиссии». Пришел к нам и горько жаловался: «Это мне напоминает тот случай, когда ни одна из газет, травивших меня за то, что я публично развенчал Репина, не дала мне места ответить на эту травлю!»⁴

— Волошин хлопочет, как бы ему выбраться из Одессы домой, в Крым. Вчера прибежал к нам и радостно рассказал, что дело устривается и, как это часто бывает, через хорошенькую женщину. «У нее ре-к-визировал себе помещение председатель Чека Северный, Геккер познакомила меня с ней, а она с Северным». Восхищался и им: «У Северного кристальная душа, он многих спасает!» — «Приблизительно одного из ста убиваемых?» — «Все же это очень чистый человек...»⁵. И, не удовольствовавшись этим, имел жестокую наивность рассказать мне еще то, что Северный простить себя не может, что выпустил из своих рук Колчака, который будто бы попался ему однажды в руки крепко...

— Помогает Волошину пробраться в Крым еще и через «морского комиссара и командующего черноморским флотом» Немица, который, по словам Волошина, тоже поэт, «особенно хорошо пишет рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную большевицкую миссию в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит, кажется, из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы (на этом самом дубке) в начале мая. Уехал со спутницей, которую называл Татидой⁶. Вместе с нею провел у нас последний вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было все-таки грустно. Да и все было грустно: сидели мы в полутьме, при самодельном ночнике, — электричества не позволяли зажигать, — угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по-дорожному — матроска, берет. В карманах держал немало разных спасительных бумажек, на все случаи; на случай большевицкого обыска при выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, — до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах, и в добровольческих. Все же мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: Бог знает, как-то сойдет это плавание на дубке до Крыма... Беседовали долго и на этот раз почти во всем согласно, мирно. В первом часу разошлись наконец: на рассвете наши путешественники должны были быть уже на дубке. Прощаясь, взволновались, обнялись. Но тут Волошин почему-то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но все больше и больше — и притом с самыми серьезными, почти зверскими лицами — надуваться, затем так же медленно выпускать дыхание, и как вокруг них начала собираться удивленная,

не понимающая, в чем дело, публика. Потом очень хорошо стал изображать медвежонка...⁷

С пути он прислал нам открытку, писанную 16 мая в Евпатории:

«Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждем поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской Косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французскими миноносцами, болтались ночь без ветра, во время мертвой зыби, были обстреляны пулеметным огнем под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озерам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Все идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов... Очень приятно вспоминать последний вечер, у вас проведенный, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период»⁸.

В ноябре того же года пришло еще одно письмо от него, из Коктебеля. Привожу его начало:

«Большое спасибо за ваше письмо: как раз эти дни все почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли.

Мои приключения только и начались с выездом из Одессы. Мои большевицкие знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до “командарма”, который меня привез в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым.

Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнем: первый десант добровольцев был произведен в Коктебеле, и делал его “Кагул”, со всею командой которого я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу.

Через три дня после освобождения Крыма я помчался в Екатеринодар спасать моего друга генерала Маркса⁹, несправедливо обвиненного в большевизме, которому грозил расстрел, и один, без всяких знакомств и связей, добился-таки его освобождения. Этого мне не могут простить теперь фео-досийцы, и я сейчас здесь живу с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят как на большевицкие.

Кстати: первое издание “Демонов глухонемых”¹⁰ распространялось в Харькове большевицким “Центрагом”, а теперь ростовский (добровольческий) “Осваг” взял у меня несколько стихотворений из той же книги для распространения на летучках. Только в июле месяце я наконец вернулся домой и сел за мирную работу...

Работаю исключительно над стихами. Все написанные летом я переслал Гроссману для одесских изданий. Поэтому относительно моих стихотворений на общественные темы спросите его, а я посылаю вам пока для “Южного слова” два прошлогодних, лирических, еще нигде не появлявшихся, и две небольшие статьи: “Пути России” и “Самогон крови”. Сейчас уже два месяца работаю над большой поэмой о св. Серафиме, весь в этом напряжении и неуверенности, одолею ли эту грандиозную тему. Он должен составить диптих с “Аввакумом”.

Зимовать буду в Коктебеле: этого требует и работа личная, и сумасшедшие цены, за которыми никакие гонорары угнаться не могут. Кстати, о гонораре: теперь я получаю за стихи десять рублей за строку, а статьи — по три за строку. Это минимум, поэтому, если “Южное слово” за стихи заплатит больше, я не откажусь.

Мне бы очень хотелось, И. А., чтобы вы прочли все мои новые стихи, что у Гроссмана: я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности (в цикле “Личины”, стих. “Матрос”, “Красногвардеец”, “Спекулянт” и т. д.), и мне бы очень хотелось знать ваше мнение.

Я еще до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы, весны и лета: мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех ее партиях, и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники... Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке...»

Это письмо было для меня последней вестью о нем.

Теперь уже давно нет его в живых. Ни революционером, ни большевиком он, конечно, не был, но, повторяю, вел себя все же очень странно.

Вот девятнадцатый год: этот год был одним из самых ужасных в смысле большевицких злодеяний. Тюрьмы Чека были по всей России переполнены, — хватали кого попало, во всех подозревая контрреволюционеров — каждую ночь выгоняли из тюрем мужчин, женщин, юношей на темные улицы, стаскивали с них обувь, платья, кольца, кресты, делили меж собою. Гнали разутых, раздетых по ледяной земле, под зимним ветром, за город, на пустыри, освещали ручным фонарем... Минуту работал пулемет, потом валили, часто недобитых, в яму, кое-как заваливали землей...¹¹ Кем надо было быть, чтобы бряцать об этом на лире, превращать это в литературу, литературно-мистически закатывать по этому поводу под лоб очи? А ведь Волошин бряцал:

Носят ведрами спелые гроздья,
Валят ягоды в глубокий ров...
Ах, не гроздья носят, юношей гонят
К черному точилу, дают вино!¹²

Чего стоит одно это томное «ах!» Но он заливался еще слаще:

Вейте, вейте, снежные стихии,
Замечайте древние гроба!¹³

То есть: канун вам да ладан, милые юноши, гонимые «к черному точилу»! По человечеству жаль вас, конечно, но что ж поделаешь, ведь убийцы чекисты суть «снежные, древние стихии»¹⁴:

Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!»
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия,
Если ж дров в плавильне мало, —
Господи, вот плоть моя!¹⁵

Страшней всего то, что это было не чудовище, а толстый и кудрявый эстет, любезный и неумолимый говорун и большой любитель покушать. Почти каждый день, бывая у меня в Одессе весной девятнадцатого года, когда «черное точило», — или, не столь кудряво говоря, Чека на Екатерининской площади, — весьма усердно «прокаляла толщу бытия», он часто читал мне стихи насчет то «снежной», то «обугленной» России, а тотчас после того¹⁶ свои переводы из Анри де Ренье, потом опять пускался в оживленное антропософическое красноречие. И тогда я тотчас говорил ему:

— Максимилиан Александрович, оставьте все это для кого-нибудь другого. Давайте лучше закусим: у меня есть сало и спирт.

И нужно было видеть, как мгновенно обрывалось его красноречие и с каким аппетитом уписывал он, несчастный, голодный, сало, совсем забывши о своей пылкой готовности отдать свою плоть Господу в случае надобности.

1930

